



шолтца

А.А.Тесля

РЫБКА И НАБЛЮДАТЕЛЬ

Вен П. Фуко: Его мысль и личность /

Пер. с фр. А.В.Шестакова. —

СПб.: Владимир Даль, 2013. — 195 с.

Ключевые слова: Мишель Фуко, текст, дискурс, жизненная практика

¹ Впрочем, немецкий издатель поступил еще радикальнее, вынеся в заголовок один из центральных образов книги: «Foucault, der Philosoph als Samurai» (нем.) — «Фуко, философ как самурай».

В русском варианте заглавия, к сожалению, потерялся один аспект, присутствующий в оригинале и проясняющий замысел Поля Вена, а именно удвоение: «Его мысль, его личность» («Foucault. Sa pensée, sa personne»), замененное простой — но от этого и более двусмысленной — соединительной конструкцией¹. В той трактовке Фуко, которую дает Вен, для подобного соединения вряд ли есть место, поскольку оно предполагает возможность говорить о «личности» в некотором обособлении от «мысли». Зачастую такое допустимо, и мы отделяем мысль ученого от его личности, ибо первое относится к профессии, к тому, что занимало его в интеллектуальном плане, тогда как личность прочитывается, с одной стороны, как то, что остается за пределами «интеллектуального» (характер, склонности, фобии, мании, образ жизни и т.п.), с другой — как интегральный образ, куда интеллектуальное входит в качестве составной части. В случае Фуко, как подчеркивает Вен, такое обособление не срабатывает: его мысль и тексты функционировали не как научные произведения, а скорее по «писательской модели». «Смыслом жизни интеллектуала» (к каковым он принадлежал — и с этой идентификацией соглашался, чуждаясь большинства других) Фуко полагал «труд преобразования своей собственной мысли и мысли других» (цит. по: с. 177). Его работа была призвана преобразовать его самого — текст менял того, кто его создавал, был не объективным результатом, а средством преобразования, «практикой себя», одной из тех, которыми Фуко так много занимался в последние годы, сумев найти для себя нечто существенно важное в античности, в эллинистических школах, а через них подойти и к более раннему: «Не возвращайтесь постоянно к тому, что я говорил раньше! Сказанное забыто мною с момента произнесения. Все, что я говорил в прошлом, совершенно не имеет значения. Мысль переносится на бумагу, когда надоедает голове: она обескровлена — вы ее записываете, вот и все. То, что я написал, мне уже не интересно. Мне интересно то, что я мог бы написать, и то, что я мог бы сделать» (курсив наш. — А.Т.)» (цит. по: с. 176).

Чем более прочным было публичное положение Фуко, тем более откровенно он мог заявлять свои взгляды и описывать свое отношение к тексту, радикально расходящееся с научным этосом и, соответственно, сближающееся с этосом, присущим многим художественным

практикам: «Меня совершенно не беспокоит академический статус того, что я делаю; проблемой для меня является преобразование себя. <...> Это преобразование себя своим собственным знанием, полагаю, во многом родственно эстетическому опыту. Зачем живописцу было бы писать, если бы он не преобразовывал своей живописью себя?» (цит. по: с. 179). Вен следующим образом комментирует процитированный пассаж, обрамляя его собственными рассуждениями:

«Фуко жил жизнь писателя, но был одним из тех одержимых, которые срastaются не столько со своими произведениями, сколько с самим актом письма или живописи (с возрастом они часто становятся графоманами — таковы Сартр и Пикассо; к ним можно добавить Пруста).

<...> Самонаблюдение открыло ему, что он дошел в своей работе до точки, где самые скромные и прозаичные виды интеллектуальной деятельности, оставаясь ниже по статусу, уже не отличаются принципиально от литературного и художественного творчества» (с. 178, 179).

А чуть ранее, касаясь последнего интервью Фуко, отмечает: «Не существует вечных проблем, вечное возвращение — это и вечное начало пути (Фуко любил эти слова Рене Шара). Родство Фуко с античной моралью сводится к единственной детали: это работа себя над собой, „стиль“. В данном случае „стиль“ означает не отличие, не дендизм: это слово нужно понимать в смысле греков, для которых художник был прежде всего ремесленником. Идея стиля существования и, следовательно, работы себя над собой занимала большое место в беседах и, вне сомнения, в раздумьях и переживаниях Фуко в последние месяцы его жизни, об угрозе которой знал только он сам. Усматривая в самом себе произведение, над которым нужно работать, субъект способен предписать себе мораль, уже не подкрепленную ни Богом, ни традицией, ни разумом» (с. 141).

Книга Вена по замыслу — это попытка «объяснить самому себе мысль своего близкого друга, который был... одним из великих умов нашего времени» (с. 11), посмотреть на того, с кем так много и драгоценно общался, с исторической и жизненной дистанции и увидеть его целиком. Задуманная спустя несколько лет после смерти философа книга, толчком к которой стала инициатива Дидье Эрибона, первого биографа Фуко, собиравшего информацию о нем и, разумеется, обратившегося за сведениями к Вену, создавалась два десятилетия — о том, кого хорошо знал и кто был тебе дорог, масштаб кого не только осознавал, но и ценил, писать сложно. Дистанция слишком мала и вес слов велик: остро чувствуется неточность каждого выражения, приблизительность формулировки, грозящая обернуться неверностью смысла, постоянный баланс между тем, что необходимо рассказать о друге, и тем, что рассказывать не стоит в силу неверного понимания, ведь почти невозможно передать в тексте то равновесие, где мелочи — приятные и неприятные, завораживающие и отталкивающие — не превращаются в передачу «житейской суеты» ради нее самой, а служат отображению реальности, которая уже стала прошлым.

Вену удалось создать шедевр, сохраняя идеальное равновесие между мемуарными фрагментами и интерпретацией ключевых положений мысли Фуко, нарисовать портрет друга, образ которого, сложившийся в ходе непосредственного общения, был прояснен чтением текстов, недоступных при его жизни или оказавшихся тогда за пределами внимания. В этой книге Вен не претендует на то, чтобы раскрыть мысль Фуко такой, как она есть, его цель — передать *свое* понимание Фуко, где человек и мысль неразделимы и вместе с тем даны в личной перспективе — перспективе того, что созвучно автору, воспринимается им как важное или, напротив, вызывает отторжение. Вен, преклоняющийся перед философским дарованием Фуко, одновременно жестко определяет себя как профессионального историка, говорит изнутри своей профессии (а отчасти — и своей корпорации, например, поясняя, почему Фуко не удалось добиться понимания историков, в котором он был весьма заинтересован). Тем самым это и специфический разговор о философии — с позиции человека, который философом не является в силу самоопределения, ведь философия бывает адресована вовне, а не одному лишь сообществу профессиональных философов, и подобное прочтение (не исключающее, разумеется, других) отвечает и замыслу самого Фуко, настойчиво стремившегося выйти за пределы своего «цеха».

Историческая дистанция, присутствующая в тексте, где описываются события и споры 1950-х — начала 1980-х годов, и вынуждающая автора прояснять французский контекст, ставший для современных читателей уже непонятным, позволяет и иностранному читателю до некоторой степени разобраться в устройстве французской интеллектуальной жизни того времени (а отчасти и нынешней): самописание осуществляется Венем с отчетливостью взгляда историка, привыкшего применять инструментарий культурной антропологии к древним грекам и римлянам. Так, для Фуко было важно найти отклик у французской исторической школы, то есть в первую очередь у школы «Анналов», и он остро переживал свою неудачу. Сочувственно встреченный вначале и благословенный хвалебным отзывом Фернана Броделя, он удостоился этого из-за непонимания его идей — историки прочитали «Историю безумия...» и «Рождение клиники...» как очередные тексты, расширяющие пространство исторического. Для «Анналов» не было ничего принципиально нового в том, чтобы вслед за исторической изменчивостью морали, чувств, самого восприятия (на последнем настаивал еще Люсьен Февр, а затем Робер Мандру) включить — как очередной материал, расширяющий область исследований, — и историю трансформаций представлений о «безумии». Когда же выяснилось, что притязания Фуко состоят не в освоении еще одной исторической области, а в радикальном изменении концепции, суть такого изменения была попросту не воспринята — утверждение об историчности самой истины оказалось излишним для существующей школы, не испытывавшей нужды в постановке и разработке такого вопроса.

Биографически-мемуарное постоянно присутствует в тексте — начиная с непосредственных зарисовок, относящихся к временам, когда Фуко по приглашению Луи Пьера Альтюссера на несколько лет остался «кайманом» в «Эколь Нормаль», где обучался и Вен, бывший на четыре года младше своего друга, который уже тогда произвел на него сильное впечатление², и заканчивая заметками о последних месяцах жизни Фуко. Позволим себе процитировать их, несмотря на значительный объем, поскольку здесь важна интонация текста:

² «Появление Фуко в тамошней среде — скажем так, осененной мудростью, — послужило для нас уроком: помимо глубины того, что он говорил, нас поразила в нем возможность „быть не как все“» (с. 174).

«Он не боялся смерти и говорил об этом друзьям, когда разговор касался темы самоубийства (как настоящий самурай, он носил два меча, из которых более короткий предназначается для его владельца). Факты показали, что в этом не было хвастовства. В самые последние месяцы жизни он писал и переписывал две свои книги об античной любви, дабы исполнить долг перед собой. Несколько раз он давал мне для проверки какие-то из своих переводов и жаловался на неотступный кашель и постоянную высокую температуру. Он вежливо попросил меня посоветоваться об этом с моей женой-врачом, что ничем ему не помогло. „Твои доктора, чего доброго, решат, что у тебя СПИД“, — как-то пошутил я (взаимные колкости по поводу расхождения в любовных пристрастиях были частью нашего дружеского ритуала). „Именно так они и думают, — отвечал он с улыбкой, — их вопросы не оставляют в этом сомнений“. Читателю трудно будет поверить, что в том феврале 1984-го температура и кашель ни у кого не вызвали особого беспокойства: СПИД был таким далеким и неведомым бедствием, что воспринимался как нечто мифическое и, быть может, несуществующее. (Никто из близких Фуко ни о чем не догадывался. Мы узнали, в чем дело, перед самой его смертью. По свидетельству Даниэля Дефера³, он обнаружил в блокноте Фуко такую запись: „Я знаю, что у меня СПИД, но из-за своей истеричности все время забываю об этом“ — прим. П. Вена.)

³ Друг и литературный душеприказчик Фуко.

Просто из любопытства я спросил его: „СПИД и в самом деле существует, или это нравоучительная легенда?“ После секундного раздумья Фуко ответил: „Послушай, я изучил этот вопрос, прочел немало книг и могу сказать, что он существует, это не выдумки“. В двух-трех фразах он посвятил меня в детали: „Я же, в конце концов, историк медицины“. В тогдашних газетах еще то и дело появлялись заметки со ссылками на американские источники, где реальность „рака гомосексуалистов“ ставилась под сомнение.

Когда я вспоминаю, с каким хладнокровием он реагировал на мои глупые вопросы, у меня перехватывает дыхание; должно быть, он предвидел, что однажды я вспомню его слова, а потому хорошенько обдумал свой ответ и положился на мою память» (с. 189—190).

Фуко глазами Вена — это скептик, причем скептик в смысле античном, а не тот, для кого, как для Пьера Шаррона, скепсис — релятивизм, дешевый способ провозгласить все истины одинаковыми и сделать из этого вывод, что истины нет. Истина существует, но она не в универсалиях — сомнение во всеобщем не дает оснований сомневаться

в конкретном: «Не будем паниковать от того, что мы не можем схватиться за подол адекватной истины. Наша способность к познанию никак не хуже способности животных, которые, как и мы, могут ошибаться, но чаще всего разбираются в деталях своей жизни. Мы живем не в мире политиков-гностиков, не в зачарованном мире, управляемом идеологиями; мы познаем малые истины и эмпирические единичности, мы воздействуем на серии явлений, мы можем их изучать и управлять ими. Мы добиваемся практических и даже научных результатов как в точных, так и в гуманитарных дисциплинах. Мы можем распознать свои ошибки, можем понять, что блуждаем. Блуждание от этого не прекратится, но оно не мешает жить, ибо мы живем в действительности» (с. 101).

Осознание конкретного — в его многообразии; то пристрастие к «куриозному», «барочному», что отчетливо просматривается в ранних текстах философа (и постепенно отступает под более строгим взглядом последующих работ), открывает поразительное многообразие способов мыслить и действовать: «Фуко считал прошлое кладбищем истин, но это приводило его не к горькому заключению о тщете всего сущего, а к выводу о позитивности становления: что дает право это последнее судить? И он никогда, ни единым словом не осуждал самую абсурдную из доктрин, но излагал их все спокойно и не жалея времени, что было формой уважения. Ничто не тщетно, творения человеческого духа безусловно позитивны, ибо они существовали. Они так же интересны и примечательны, как творения Природы, показывающие, на что она способна: цветы, животные и т.д. Я и сегодня слышу, как Фуко с удовольствием, симпатией и восхищением рассказывает мне о святом Августине с его вечным изобилием идей — идей, очевидно, тем более ценных, что уже тем, как трудно в них поверить, они показывают, на что способен человеческий дух» (с. 52—53).

«Кладбище истин» не означает, что истин больше нет; напротив, это значит, что истина сама по себе исторична и в данный момент она существует не менее, чем в любой предшествующий, причем существует на двух уровнях — с одной стороны, как истина конкретного, истина того, что Августин рассуждал так-то (или, точнее, что есть текст, в котором зафиксировано это рассуждение), с другой — как истина того дискурса, который является нашим (и именно потому не осознаваем нами; его границы нам недоступны, но мы способны осознать, что они у него тоже есть — по аналогии с иными). (Имеется, впрочем, и третий уровень — то, что мы обладаем волей к истине, что она выступает как наша цель, объект воления — и обретает реальность через это.) Образ, который использует Вен для прояснения позиции скептика, — это двойственный образ рыбки и наблюдателя: скептик — «существо двойственное. Как человек размышляющий он пребывает вне аквариума и смотрит на рыбок, плавающих по кругу. Но как человек живой он сам оказывается в аквариуме, одной из рыбок <...> Скептик — одновременно наблюдатель, стоящий перед аквариумом и в нем сомневающийся, и рыбка. Ничего трагического в таком раздвоении нет» (с. 7).

Скептицизм как жизненная практика определял и позицию Фуко по отношению к политике. Обычно относимый к «левым», он, как настаивает Вен, был далек от них принципиально, но «был хитер и, предпочитая проходить по разряду левых, не спешил рассеивать двусмысленность, устранять оттенок, разводивший его несвоевременность с левизной его почитателей. Дело в том, что только среди левых активистов и журналистов „Либерасьон“ он мог найти союзников в своей точечной борьбе» (с. 181). «Он не верил ни в Маркса, ни во Фрейда, ни в революцию, ни в Мао, он иронизировал в кругу друзей над благими упованиями прогрессистов и, насколько я помню, не выражал принципиальных позиций по общим проблемам — таким как третий мир, общество потребления, капитализм, американский империализм. Виной тому <...> беспощадная конечность, неизбежно разделяющая ученого и активиста. Мы будем удивлены, но хотя Фуко находился в молчаливой оппозиции к Реймону Арону, более радикальным из них был не тот, кого хочется таковым считать: Арон не считал, что разрыв между ученым и политиком так велик, как утверждал Макс Вебер — на его взгляд излишне верный номинализму; тот же, кого зачислят в венсенские экстремисты, считал этот разрыв непреодолимой пропастью» (с. 159). И это ничуть не цинизм, как могло иногда показаться — и как склонны были считать многие, особенно когда после смерти Фуко стали появляться рассказы его друзей и знакомых.

Для Фуко, в отличие от Арона и Пьера Бурдьё, при всей разнице воззрений данных персон, политика не была делом идеологических установок, верности программы, которую пытались укоренить в некоей теории — пусть даже в скептическом реализме, как Арон. Политическое для Фуко выступало пространством выбора, для которого мы уже *потом* склонны подбирать аргументы и выстраивать позицию; и в этом отношении всякий выбор, претендующий на универсальность, вызывал у Фуко отторжение: «Не используйте мысль, чтобы придать политической практике ценность истины <...> Не используйте политическую деятельность, чтобы дискредитировать мысль — словно та является чем-то бóльшим, нежели чистая спекуляция» (цит. по: с. 154—155). Действовать он был готов там, где переживал непосредственную реакцию, возмущение — по поводу конкретной ситуации, а не из принципа. Он был несвоевременным, что отличало его «от врагов современности, которые его не любили (таким врагом был... Жан Бодрийар)» (с. 182). Они верили в Разум в Истории, мыслили «большими словами» — даже если вкус эпохи со временем заставил их предпочесть строчные заглавным при их написании. Фуко же отказывался уповать на нечто подобное, на которое можно опереться, — даже в скептическом варианте Арона, отменяющем исторический Разум, но надеющемся найти универсальный смысл в рассудке. Как скептик он полагал, «что крестовые походы нравственности против несообразностей эпохи (таких, как рабство и колониализм) начинаются и актуализируются в тот момент, когда эти несообразности уже ждут отмены или когда угнетенные начинают

бунтовать. Не то чтобы крестоносцы устремлялись на помощь тем, кто побеждает и так, они просто интуитивно понимают, что эти вещи несообразны как таковые и что они уже осуждены историей как наследие варварского прошлого и недостойны „нашей эпохи“» (с. 152, прим. 6). «Один аквариум — дискурс рабов или колоний — устарел по отношению к современности и стал казаться таким же отжившим, как масляные лампы или парусные корабли. И одновременно рабство и колонии на полных правах появились в новом аквариуме как несовместимые с понятием справедливости. <...> Изменения в дискурсе могут, таким образом, породить иллюзию прогресса некоего властного и вневременного этического сознания» (с. 152—153).

На протяжении книги Вен выстраивает несколько последовательных оппозиций персонального и интеллектуального плана: это Арон, Бурдьё и Мартин Хайдеггер. Если о двух первых речь шла выше, то последнее со- и противопоставление на первый взгляд выглядит странным — скорее данью интеллектуальным пристрастиям Вена, чем действительной близостью к Фуко (хотя Вен и демонстрирует, что некоторые тексты Хайдеггера, и не только эпохальный «Ницше», роль которого признавал и сам Фуко, были им внимательно прочитаны — настолько, чтобы звучать и в сравнительно поздних его работах). Формулируя позицию Фуко в рамках данного противопоставления, Вен пишет: «...Человек — не падший ангел, вспоминаящий о небесах, и не пастух Бытия по Хайдеггеру, а блуждающее, кочевое животное, единственное знание о котором дает его история; вечная позитивность, лишённая внешнего источника негативности, которая, вторгаясь раз за разом, могла бы в конце концов привести человека к цельности» (с. 98).

Однако противопоставление, которое последовательно проводится в тексте, оборачивается сближением (трудно сказать, насколько оно задумано самим автором). Давно замечено, что все философы говорят об одном — и, в определенном смысле, одно и то же, — лишь используя разный жест для того, чтобы указать на это «одно». Но всякая прямая речь, всякая попытка описания этого «одного» приводит к его объективации, и чем богаче наша речь, тем с большей легкостью возникает этот эффект: слова как знаки оказываются означивающими «нечто», что в результате представляется «одним из». За каждым «дискурсом», «эпистемой», «диспозитивом» и т.д. (Фуко менял терминологию, будучи каждый раз недоволен шлейфом неверных значений и истолкований, неизбежно волочущихся за используемым в данный момент словом; терминологическую подвижность также при желании нетрудно интерпретировать как апофатический жест, снимающий вроде бы возникающую определенность, чтобы указать на ее границу), за тем, что ими определяется и через них проговаривается, скрывается нечто «неоспоримо реальное», «трансисторическое» и «недоступное ядро», которое невыделимо, поскольку «мы неизбежно создаем дискурс о нем» (с. 11):

«Разумеется, наше представление о сексуальности или безумии <...> вместе со своим дискурсом соотносится с некоей „вещью в себе“

(скажу я, рискуя злоупотребить кантианским языком), с некоей реальностью, которую оно стремится отобразить. Сексуальность и безумие существуют; это вовсе не идеологические изобретения. Можно предаваться спекуляциям до бесконечности, но человек остается сексуально ориентированным животным — физиология и половой инстинкт это доказывают. Все, что люди думали о любви и безумии на протяжении веков, свидетельствует о существовании и, скажем так, меняющемся расположении вещей в себе. Однако мы не обладаем адекватной истиной об этих вещах, поскольку они доступны нам лишь через представления, которые мы составляем о них в зависимости от эпохи (предельной формулировкой, *differentia ultima* этого представления и является дискурс). Иначе говоря, они доступны нам лишь как „феномены“, ибо мы не в силах отделить вещь в себе от „дискурса“, в который она для нас заключена. „Занесена песком“, любил говорить Фуко. Без дискурсов, без этих своеобразных допущений, нельзя было бы понять ничего; если бы их не было, объект X, в котором люди видели сначала одержимость Богом, затем безумие, неразумие, слабоумие и т.д., существовал бы все равно, но в нашем сознании ему бы ничего не соответствовало» (с. 15—16).

В 1979 г. Фуко записал в блокноте: «Нужно не просеивать универсалии через крупное сито истории, а просеивать истории через мелкое сито мысли, не принимающей универсалий», стремясь к конкретному (цит. по: с. 14). «Метод, который в итоге остался методом одного Фуко, заключался в том, чтобы пойти как можно глубже в исследовании различий между однородными, на первый взгляд, событиями» (с. 34). Но конкретное здесь не было самоцелью. Оно каждый раз упиралось в реальность, в то, что было «неоспоримо реальным» и одновременно «недоступным» — как для Хайдеггера бытие (а затем и вовсе указующий жест, избавляющий от иллюзии понимания, сопряженной с названием) открывалось в языке, одновременно «показывающем и скрывающем», — то есть было указанием на то «одно», что «выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской», неоспоримое и одновременно неназываемое.